
“Образ прекрасного мира”

Наше знакомство с Николаем Рубцовым. Его письма ко мне. Открытие памятника в Тотье. Переписка с поклонницей Рубцова Нифонтовной. Драка в Доме литераторов. Рубцов прощен при помощи Слуцкого и Яшина. Слуцкий о Рубцове. Сегодняшние попытки оболгать Рубцова и его друзей. Мои письма Рубцову, найденные через 36 лет

1

...Х лопотная работа — заведовать отделом поэзии в печатном органе: больно много людей пишут стихи, и каждый из них уверен, что именно его творения совершенны и неповторимы. На рукописи при определенных навыках отвечать просто. Но когда к тебе приходит живой человек и требует немедленной и, конечно же, благожелательной оценки своих виршей — что делать? Ежели не мобилизуешь всех знаний для убедительного ответа с привлечением цитат из Пушкина или Блока, из Есенина или Твардовского, то уходит разгневанный автор, прижимая к сердцу заветную тетрадочку, любовно переплетенную, куда каллиграфическим почерком вписаны откровения души, и в пылающих глазах его явственно читаешь: “А ты сам кто такой?!”

Если это человек с профессией, как только что ушедший от меня доктор технических наук, приносивший поэму, где действуют Эйнштейн и Христос, Гражданин с Марса и князь Кропоткин, то, в общем, — ничего страшного. Человек при деле. Не пропадет... Но если пришел бедолага в пальтишке с

обтрепанными рукавами, открыл старенький фибровый чемоданчик, вытащил грудю измятых, несвежих рукописей и, обратив к тебе землистый лик, с последней крохотной надеждой смотрит на тебя, потому что во всех журналах столицы отклонены труды его несладкой жизни, то смутно становится на душе и не хочется ссылаться в разговоре ни на статью Маяковского “Как делать стихи”, ни на книжку Исаковского “О поэтическом мастерстве”...

Вот приблизительно о чем думал я в один из жарких летних дней 1962 года, сидя за своим столом в редакции журнала “Знамя”.

С Тверского бульвара в низкое окно врываются людские голоса, лязганье троллейбусных дуг, шум проносащихся к Никитским воротам машин. В Литинституте шли приемные экзамены, и все абитуриенты по пути в Дом Герцена заглядывали ко мне с надеждой на чудо. Человек по десять за день. Так что настроение у меня было скверное.

Критики Лев Аннинский и Самуил Дмитриев, сидевшие со мной в одной комнате, каждый раз, когда открывалась дверь, злорадно улыбались:

— К тебе!

Кстати, если не ошибаюсь, этим же летом в редакцию зашел рыжеволосый, нервный молодой человек, отрекомендовался — “Иосиф Бродский, из Ленинграда”, пожаловался на гонения, которым он подвергается в родном городе, и попросил меня прочесть его стихи. Собственно говоря, это были не стихи, а длинная поэма. Мне кажется, что она называлась чуть ли не “Белые ночи”... Я при авторе прочитал ее, поскольку он торопился с отъездом, и сказал ему, что как версификатор он весьма поднаторел в сочинении стихов и с этой стороны у меня к нему нет никаких претензий, но поэма по интонации явно несамостоятельна — подражание “Спекторскому” Бориса Пастернака настолько очевидно, что я не советую автору никогда публиковать ее.

Бродский ушел огорченный, но тем не менее я нигде, ни в одной из его книг, изданных и при жизни и посмертно, не видел, чтобы эта юношеская поэма была опубликована...

Настроение было скверным еще и потому, что передо мной лежала жалоба — коллективное письмо читателей, на которое по приказанию главного редактора мне предстояло дать дипломатичный ответ.

В последнем номере журнала мы опубликовали несколько стихотворений И. Сельвинского под общим заголовком “Гимн женщине”, и вскоре в редакцию стали поступать гневные

письма. Стихи Сельвинского были не по душе мне самому, но письма читателей не нравились еще больше.

“Мы просто читатели. Прочитали в 6-м номере “Знамени” стихи Сельвинского и удивились. Как они попали на страницы советского журнала? Неужели пришла пора, когда дана “зеленая улица” на страницах СП СССР занимающимся словоблудием и оскорбляющим достоинство советского человека?”

Когда пред высокой стоишь красотой,
ощущаешь себя ничтожеством.

Это почему же советский человек, покоряющий космос, создающий своими руками прекрасные произведения искусства и полезные человеку вещи, должен чувствовать себя ничтожеством?”

Я перечитывал письмо, горюя о своей судьбе, но не мог ничего “дипломатичного” придумать в ответ этим яростным читателям.

Заскрипела дверь. В комнату осторожно вошел молодой человек с худым, костистым лицом, на котором выделялись большой лоб с залысинами и глубоко запавшие глаза. На нем была грязноватая белая рубашка, неглаженные брюки пузырились на коленях. Обут он был в дешевые сандалии. С первого взгляда видно было, что жизнь помотала его изрядно и что, конечно же, он держит в руках смятый рулончик стихов.

— Здравствуйте! — сказал он со стеснительным достоинством. — Я стихи хочу вам показать.

“Час от часу не легче!” — подумал я.

— Садитесь. Я сейчас письмо дочитаю...

Но стон твой горячий кровинкой вина
ее обожжет! В этом главное.
Иначе не женщиной будет она.
Обожаемая. Богоравная.

И чего они прицепились к этим стихам? Ну несколько высокопарные, и только...

“Да как у Вас, Сельвинский, язык повернулся сравнить наших прекрасных трудолюбивых женщин, строящих новую жизнь, с витающим в облаках несуществующим бездельником господом богом...”

Я в изнеможении отшвырнул письмо. Лучше уж с очередным графоманом поговорю. Все-таки живое дело...

— Давайте ваши стихи!

Молодой человек протянул мне странички, где на слепой

машинке были напечатаны одно за другим вплотную — опытные авторы так не печатают — его вирши. Я начал читать.

Я запомнил, как диво,
Тот лесной хуторок,
Задремавший счастливо
Меж звериных дорог.

Я сразу же забыл о Сельвинском, о письме пенсионеров, о городском шуме, влетающем в окно с пыльного Тверского бульвара. словно бы струя свежего воздуха и живой воды ворвалась в душный редакционный кабинет: зашелестели номера журналов с несуществующими стихами, слетели со стола в проволочную корзину злобные письма и заготовленные на полгода вперед вороха поэтических подборок.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Я оторвал от рукописи лицо, и наши взгляды встретились. Его глубоко запавшие мохнатые глазки смотрели на меня пытливо и настороженно.

— Как вас зовут?

— Николай Михайлович Рубцов.

К концу рабочего дня в “Знамя” заглянул мой друг Анатолий Передреев. Я показал ему стихи. Он прочитал. Удивился.

— Смотри-ка! А я слышу — Рубцов, Рубцов, песни поет в общаге под гармошку... Ну, думаю, какой-нибудь юродивый...

С того дня и началось наше товарищество с Рубцовым вплоть до несчастного часа, когда январской ночью 1971 года меня разбудил звонок из Вологды.

— Станислав — ты? Это Василий Белов. — Он с трудом выговаривал слова. — Коли Рубцова... больше нет... Напиши срочно некролог в “Литературку”...

* * *

“18.XI.1964 г. Дорогой Стасик! Добрый день или вечер!”
Письмо написано четким ученическим почерком. Видимо, с удовольствием и не торопясь сочинялось оно. С крестьянской обстоятельностью или с обстоятельностью человека, у которого много времени впереди — целый осенний вечер. А почерк ученический — таким я научился писать в эвакуации в деревне Пыщуг Шарьинского района, что недалеко от тотемских мест.

Да разучился уже давно, оттого что в последующей жизни пришлось слишком много написать суетного и торопливого. А Рубцов — сохранил свой школьный почерк, на котором лежит печать старательных уроков чистописания в сельской школе.

Первые же слова этого письма, некогда полученного мной назад из деревушки Николы Тотемского района, воскрешают в памяти облик Рубцова, его осторожные повадки, его недоверчивость к жизни и одновременно детскую незащищенность перед ней.

Я представляю, как он написал “Добрый день”, и вдруг подумал: а почему день? Ведь письмо может прийти в любое время суток! И довольно, по-детски, хохотнув от неожиданной мысли, дописал “или вечер”. Вообще в его понимании литературы было нечто непосредственное, иногда помогавшее ему неожиданно, по-новому взглянуть на какие-то репутации, стихи и даже строчки. Помню, как он вдруг услышал в словах широко известной песни некоторую комическую несуразность и с увлечением повторял:

— Мы будем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда!

Очень забавляло его то, что “среди упорной борьбы и труда” (сама неграмотность этой фразы — “среди труда”, “среди борьбы” казалась ему почти трогательной) можно “петь и смеяться, как дети”.

“18.XI.64...”

Добрый день или вечер! Я опять пропадаю в своем унылом далеке, в селении Никольском, где я пропал целое лето. Это, как я тебе уже говорил, один из самых захолустных уголков Вологодской стороны, — в прелестях этого уголка я уже разочаровался, т. к. нахожу здесь не уединение и покой, а одиночество и такое ощущение, будто мне все время кто-то мешает и я кому-то мешаю, будто я перед кем-то виноват и передо мной тоже. Все это я легко мог бы объяснить с психологической стороны не хуже Толстого (а что! В отдельных случаях этого дела многие, наверно, могут достигнуть Льва Толстого: и мелкие речки имеют глубокие места. Хотя в объеме достигнуть его, Толстого, глубины — почти невысказанное дело), повторяю: мог бы и объяснил бы, если бы я не знал, кому пишу это письмо...”

Судьба не была ласкова к Николаю Рубцову. Она наложила на его характер печать замкнутости, угрюмства и недоверчивости, но его природная открытость все время боролась в нем с этими свойствами.

Тот, кто встречался с ним — не забудет, как Рубцов пел свои песни. Пел их для себя в минуты свободы, тоски и полной раскрепощенности. Вот тогда-то он брал в руки обшарпанную гармошку или гитару, склонял голову с прядью редких волос, зачесанных с затылка на лоб, и, рванув мехи, начинал не петь, а выть, равномерно раскачиваясь:

По-о-тону-ула во мгле
Отдале-о-онная при-и-истань...

Вся жизнь с ранним сиротством, с деревенским детдомом, со скитаниями по России-матушке, с вечной бездомностью, с тоской по близкой и не встретившейся на житейских дорогах душе изливалась в этом вое под скрипучие звуки разбитой гармошки.

На меня надвигалась
Темнота закоулков.
И архангельский дождик
Надо мной моросил.

Но инстинктом истинного поэта Николай Рубцов знал, что в поэзию нельзя безнаказанно впускать все темное, озлобленное, измордованное и желчное, что порой овладевает человеком. Он знал главную истину: душа поэта на то и дана ему, чтобы высветлять и очищать жизнь, обнаруживая в ней духовный смысл и принимая на себя несовершенство мира. Потому-то, когда этот песенный вой достигал предела, Рубцов устало смягчал голос, грустно и спокойно заканчивая:

На болотной земле
В этом городе мгlistом
Я по-прежнему добрый,
Неплохой человек.

Это было не исполнение, а самозабвение. Однако возвращаюсь к его письму.

“Мое здесь прозябание скрашивают кое-какие случайные радости, на которые я не только способен, но еще и люблю их, и иногда чувство самой случайной радости вырастает до чувства самой полной успокоенности. Ну, например, в полутемной комнате топлю в холодный вечер маленькую печку, сажу возле нее — и очень доволен этим, и все забываю”.

Вспоминаются его стихи:

Со мною книги и гармонь
И друг поэзии нетленной —
В печи березовый огонь!

Но все равно каким-то крещенским холодом веет от этой идиллии! Много надо испытать лишений и надсады, чтобы в подобных мелочах жизни находить истинную радость.

“Я проклинаю этот Божий уголок за то, что нигде здесь не подработаешь, но проклинаю молча, чтоб не слышали здешние люди и ничего обо мне своими мозгами не думали. Откуда им знать, что после нескольких (любых, удачных и неудачных) написанных мной стихов мне необходима разрядка — выпить и побалагурить?”

Дошел я до этого места в письме и вспомнил еще одно стихотворение Рубцова — он тоже пел его под гармошку. Рубцов мало рассказывал о своей прошлой жизни даже близким ему в Москве людям, и то, что у него в деревне остались жена и дочка, я впервые узнал из песни: “Я уеду из этой деревни...”

В первоначальном варианте стихотворенье содержало на одну строфу больше. Впоследствии поэт эту строфу выбросил, считая, по справедливости, ее лишней, но она кое-что объясняет в его тогдашнем состоянии:

Ты не знаешь, как ночью по тропам
За спиною, куда ни пойду,
Чей-то злой настигающий топот
Все мне слышится, словно в бреду...

Топот его “черного человека”.

Ко времени, когда мы сблизились с ним, психика поэта (а ему еще не было и тридцати) была уже весьма изношена. Угрюмое и молчаливое состояние, из которого он редко выходил лишь при встрече с понимающими его людьми, часто прерывалось вспышками внезапного гнева. Тогда маленький и тщедушный Рубцов мог послать куда-нибудь подальше какого-нибудь администратора, сделавшего ему обидное замечание, за что впоследствии клял и корил самого себя.

Вот так и жил он в свой “московский период” — то уезжал на Вологодчину, в Николу, то возвращался, гонимый тоской, одиночеством и безденежьем из милого, но опостылевшего захолустья в сверкающий столичный город, который никогда не верил, да и до сих пор “не верит слезам”. Как писал в те

годы в одном из лучших своих стихотворений друг Рубцова Анатолий Передреев:

И в потоке его многоликом,
В равномерном вращенье колес,
В равнодушном движении великом
Нелегко удержаться от слез...

Однажды — о чем до сих пор вспоминают старожилы Литинститута — с лестничных площадок общежития исчезли портреты Лермонтова, Некрасова, Пушкина. Сбившийся с ног в поисках комендант общежития случайно заглянул в комнату Рубцова и ахнул: тот сидел на стуле со стаканом в руке в компании портретов, прислоненных к стене.

— Не с кем поговорить было, — оправдывался наутро Рубцов.

Цену себе как поэту он знал, и во всем его облике и поведении нет-нет да проскальзывало то смирение, что “паче гордыни”.

Любил поэзию Владимира Соколова, правда, в минуты раздражения называл его “дачным” поэтом, ценил стихи Анатолия Передреева, Глеба Горбовского...

Еще в студенческие времена, забредя в букинистический магазин на улице Горького (сейчас на этом месте высится новое здание гостиницы “Националь”), я купил изящное старое издание стихотворений Тютчева в парчовом с золотым шитьем переплете.

Тютчев, а не Есенин (как казалось тогда многим) был любимым поэтом Рубцова. Знал он его наизусть и часто читал вслух. А стихотворенье “Брат, столько лет сопутствовавший мне” даже пел на свой протяжный мотив.

Как-то Рубцов уезжал из моего дома в ночь, и, глядя на него, уходящего в осеннюю тьму, мне захотелось принести ему какую-нибудь маленькую радость. Я подарил ему эту книжку, будучи уверен, что Рубцов, с его безбытностью, в скором времени обязательно потеряет ее. Но друзья из Вологды рассказывали, что книга всегда была с ним в последние годы, а после смерти ее нашли в его скудной библиотечке. Видимо, он дорожил ею. В январе 1996 года, когда мы праздновали открытие рубцовского музея в Николе, Виктор Коротаяев торжественно вернул мне мой подарок, который я тут же передал в музей. Перед тем как окончательно расстаться с книгой, поглядел на титульную страницу, где было написано моей рукой: “Дорогому Николаю Рубцову от Стасика и Гали”. Помню, как он по-детски радовался, как в ответ достал из

своего старенького чемоданчика только что вышедшую “Звезду полей” и написал на титульном листе рядом со своей фотографией, где он в берете и шарфике:

“Станиславу Куняеву, дорогому поэту и другу, на добрую память.

Н. Рубцов.

1.XII.1968 г.,

г. Москва. Теплая зимняя погода”.

* * *

Со дня нашего знакомства Рубцов стал для меня одним из необходимых поэтов. Ощущение того, что где-то живет и пишет Николай Рубцов, поддерживало меня — да и не только меня — в нерадостных порою раздумьях о судьбах нашей поэзии. Не раз он приглашал меня в свою деревню Николу, но, как всегда, не нашлось времени, и вместо того чтобы приехать к нему, в 1964 году я написал стихи, вошедшие в книгу “Метель заходит в город”.

Если жизнь начать сначала,
В тот же день уеду я
С Ярославского вокзала
В вологодские края.

Перееду через реку,
Через тысячу ручьев
Прямо в гости к человеку
По фамилии Рубцов.

Если он еще не помер,
Он меня переживет,
Если он ума не пропил —
Значит, вовсе не пропьет.

Я скажу, мол, нет покою,
Разве что с тобой одним.
Я скажу, давай с тобою
Помолчим-поговорим...

С тихим светом на лице
Он меня приветит взглядом,
Сядем рядом на крыльце,
Полюбujemy закатом.

Мы как-то понимали друг друга без лишних слов или с полуслова; несмотря на его тяжелый характер — ни разу не поссорились, и нам всегда было приятно встречаться после долгих расставаний.

Когда Рубцов получил в деревне мой сборник с этим стихотворением, посвященным ему, он ответил мне следующим письмом.

“Добрый день, Стасик! Письмо твое получил, повеселился над твоими веселыми стихами, и вот написал на них ответ. Желаю тебе здоровья и всех радостей.

С приветом, Коля!”

Дальше шло его шутивное посланье.

ОТВЕТ КУНЯЕВУ

(некоторые соображения на тему
“если жизнь начать сначала”)

Если жизнь начать сначала,
Все равно напьюсь бухой
И отправлюсь от причала
Вологодчины лихой.
Знайте наших разгильдяев!
Ваших, так сказать, коллег!
— Где, — спрошу я, — человек
По фамилии Куняев?
И тотчас ответят хором:
— Он в Москве! Туда катись! —
И внушат, пугая взором:
— Там нельзя греметь запором
И шуметь по коридорам;
Он описывает жизнь! —
И еще меня с укором
Оглядят: — Опасный вид! —
Мол, начнет греметь запором
Да шуметь по коридорам,
То-то будет срам и стыд!..
Гнев во мне заговорит!
И, нагнувшись над забором,
Сам покрою их позором,
Перед тем спросив с задором:
— Кто тут матом не покрыт?
Кроя наших краснобаев,
Всю их веру и родню,
— Нужен мне, — скажу, — Куняев,
Вас не нужно — не ценю! —
Он меня приветит взглядом,
И с вопросом на лице
В цедээловском дворце
Помолчим... с буфетом рядом!

Я помню, как он жаловался на своих земляков-вологжан, которые, по его словам, ценят стихи Ольги Фокиной куда выше, нежели его... Впрочем, эту его обиду я уловил и в строках шуточного стихотворения, присланного мне в 1964 году:

Кроя наших краснобаев,
Всю их веру и родню,
— Нужен мне, — скажу, — Куняев,
Вас не нужно — не ценю.

Написано в шутейном, несколько ерническом стиле, при-
сущем “раннему” Рубцову.

“18.XI.64

Стасик, а что у тебя нового?

Между прочим, это такой вопрос, от которого я нередко теряюсь и не знаю, что сказать. Знаю, что не только я один. Но каждый раз, если речь заходит о настоящих людях, мне любопытно знать, как они там где-то проживают, всегда хочется пожелать им всего хорошего, — вот поэтому и вопрос о них, или им, или ему (сейчас тебе) — что нового?

Тебя, наверное, уже утомило это болтливое письмо? Еще одно последнее сказанье... Хотелось бы мне узнать, решена ли судьба (пусть частично) тех моих стихов. Мне надо знать об этом, потому что, пока не знаю, я не могу распоряжаться ими, стихами, как хочу. Да и кое-какие из них я, кажется, немного улучшил, а некоторые, вообще, зачеркнул (в голове своей), а это тоже имеет значение, если стихи все-таки пройдут... Вот у меня пока все.

Передай, пожалуйста, привет и самые добрые пожелания Гале, Гале Корниловой, Толе, Игорю, а также, если встретишь их, Володе Соколову, Вадиму Кожину.

До свиданья! С приветом и любовью Н. Рубцов.

Слякоть, осенний ледоход, снег, дождь. Надеюсь, что напишешь мне”.

2

Теплоход “Александр Клубов” шел по Сухоне. Стояли солнечные чистые дни сентября 1985 года, и крутые берега врезались в синее небо тремя разноцветными ярусами деревьев — сначала у самой воды тянулась лента желтого ивняка, чуть повыше — зеленой ольхи, а на пабереге стояла белая стена берез...

Мы плыли на родину Николая Рубцова. Теплоход шел медленно, и навстречу ему так же неторопливо двигались по берегам редкие деревни, коровьи стада, копешки сена.

В Усть-Толшме мы пересели на автобус и вскоре прибыли в старинное село Никольское. Наконец-то! Через двадцать с лишним лет после нашей шуточной переписки...

Я шел по живой строящейся деревне и на каждом шагу радовался тому, что все здесь мне знакомо: куда бы я ни глянул — везде меня окружали образы и приметы рубцовского мира.

Школа моя деревянная,
Время придет уезжать —
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать...

И хотя в деревне — слава Богу! — новая каменная школа, но “речка туманная” все та же — вон она под угором вьется в зарослях ивняка. А за нею, глазом не окинешь, до окоема — луга, пастбища, перелески, зубчатая кромка старого леса, словом, “тот же зеленый простор” — аж дух захватывает!

А вот и кладбище — кресты, ограды, венки... Видно, и Рубцов не раз глядел на него отсюда, прежде чем написать:

Село стоит на правом берегу,
А кладбище на левом берегу...

Вдоль косогора до самой Толшмы чернеют баньки, вьются узкие тропинки, тянутся изгороди, а на зеленом заливном лугу за рекой, словно бы возникшая из стихов Рубцова, пасется белая лошадь. “Лошадь белая в поле темном вскинет голову и заржет”.

На краю села “купол церковной обители”, который “яркой травой порос”. Четыре мощные кирпичные опоры держат проломленный в центре купол, под сводами которого еще можно разглядеть фигуры евангелистов в синих хитонах. Однако с той поры, когда Рубцов писал эти строки, кое-что изменилось: уже не просто яркая трава растет на куполе, а настоящие молодые березки. К церкви пристроен придел из старого церковного кирпича, в приделе вкусно пахнет свежим хлебом, опарой, дрожжами — там пекарня. Две молодые девахи в белых фартуках и цветных косынках вытаскивают из печи одну за другой буханки горячего хлеба.

— Попробовать можно?

— Пожалуйста! — озорно блеснули белые зубы.

Я отломил от душистого хлеба румяную корочку, не торопясь разжевал ее, думая о том, что хлеб выпекается в бывшей церкви и потому сегодня при желании его можно считать поминальным...

А в Доме культуры между тем начался литературный вечер. Зал был полон народу — больше женщинами и детьми. Сердце радовалось, что детей было много, что они бойкие, розовощекие, хорошо одетые... Может быть, оклемаемся от всех эпохальных бед и разрух, подрастет подлесок, не даст пропасть народному корню на древних северных землях.

А с трибуны слышался глуховатый, взволнованный голос Василия Белова:

— В стихах Коли Рубцова много живой природы — и лес, и ветер, и болота, и поле, но чаще всего он вспоминает наши реки — Сухону, Тотьму, Двину, Толшму... Наши предки селились на реках и жизнь свою без них не мыслили. Пароход, пристань, паром, берег, река, лодка — любимые слова Николая Рубцова. “Много серой воды, много серого неба и немного пологой, родимой земли”.

Но сейчас люди, равнодушные к нашей земле и нашим рекам, не знающие, как мы их любим и как без них жить не можем, разрабатывают всяческие проекты, чтобы повернуть северную светлую воду на юг. Пойменные земли заболотятся, обжитые веками берега пропадут, оставшиеся деревни исчезнут, память о прошлой жизни выветрится, и станем мы и наши дети похожими на перекасти-поле... Давайте вспомним любовь Коли Рубцова к родным рекам, пусть она поможет нам в борьбе за их жизнь...

Белов говорил с народом не как пророк или проповедник, а как сельский учитель, как родной каждому сидящему в зале человек. А я вглядывался в румяные детские мордашки и думал о том, что лет через десять — пятнадцать из этих детей вырастут колхозники, агрономы, учителя, врачи, и святое дело делает Василий Белов, зароняя в детские души зерна тревоги за родную землю, семена истины и любви. Николай Рубцов делал, в сущности, то же самое, но по-своему.

Тина теперь да болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл...

Он писал стихи “неоскорбляемой частью души”. Не потому ли в его поэзии нет ничего желчного, фельетонного, правдиво-крикливого, чем так грешат многие из нас. Он исповедовал

главную истину: душа поэта на то ему и дана, чтобы высветлять и очищать жизнь, принимать на себя несовершенство мира. Не потому ли слово “душа” одно из самых любимых им слов: “душа хранит”, “душа свои не помнит годы, так помладенчески чиста, как говорящие уста нас окружающей природы”, “до конца, до смертного креста, пусть душа останется чиста...” Мысли мои вновь были прерваны голосом Белова, который продолжал с трибуны никольского Дома культуры воспитание душ человеческих иными средствами, нежели его покойный друг.

— Коля Рубцов, как вы все знаете, вырос в детском доме. Но тогда шла война и сирот было много по понятным причинам. А сейчас почему у нас столь много детских домов? Дети при живых матерях-отцах живут сиротами. Сколько у нас лишенных родительских прав, сколько спившихся родителей, сколько детей, от которых матери уже в родильных домах отказываются. В стихах Коли Рубцова есть и горечь сиротская, и одиночество. Пусть же его поэзия помогает нам изживать искусственное сиротство, которого на Руси никогда ранее не было...

Старухи, женщины и дети, затаив дыханье, слушали каждое слово своего знаменитого земляка, а я думал о том, что поэт всегда сын своего народа. Народ дал ему творческую волю, душу, понимание жизни, чувство народного идеала, а не просто один лишь язык. Язык, в конце концов, всегда можно выучить и оставаться писателем, чуждым народу, на языке которого пишешь. Но проходит время, и настоящий народный поэт — не по званию, а по сути — выплачивает сыновний долг народу, как выплачивал бы его престарелым родителям, своеобразной заботой и уходом за народной душой, высветляя ее и поддерживая в трудные времена, когда она шатается, болеет, теряет опору. Тогда приходит он и говорит:

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь...

И какой-нибудь отрок вдруг содрогнется от поэтической искры этих строк и тем самым сознательно и на всю жизнь обнаружит в себе ту же “самую жгучую”, “самую смертную”, которая до последнего часа будет жизнетворческой силой в его судьбе.

Между тем на эстраде возник неожиданный спор. Кто-то из выступавших искренне стал восхищаться: каким образом местная природа, скромная и невзрачная, “серенькая”, родила такого яркого поэта...

— Это же чудо! — развел руками оратор.

Я услышал, как сидевший рядом Белов что-то буркнул в бороду, встрепенулся Анатолий Передреев и, дождавшись, когда оратор закончит свою речь, вышел к трибуне:

— Я всегда любовался вашей землей — ее долинами, реками, лесами. Почему, с чьей легкой руки ее называют “скромной”, невзрачной? Наоборот, она яркая, многоцветная, ваша северная природа. Несколько раз в году она меняет свой лик и свой наряд — не то что где-нибудь на юге, где круглый год стоит цветущее однообразие...

Если бы не Рубцов, и на Вологодчине мне не пришлось бы побывать. Раззадорил он меня рассказами о Сухоне, Тотьме, Николе, и приехал я как-то в ваши края, и попал в деревню к Василию Белову. Давно это было. А стихи о той поездке я написал недавно...

Медленно отчеканивая каждое слово, Передреев начал читать:

Хоть много чего сохранить не смогла,
Но душу деревня свою сберегла.

Раз детская чья-то головка одна
С таким любопытством глядит из окна.

Раз может еще так глазами сиять
Анфиса Ивановна, Васина мать...

И сразу просторы исполнились смысла,
И небо иначе над ними нависло.

И дали, что с новой встречаются далью,
Уже не дышали такую печалью.

Все сделалось радостней, стало прочней —
Земля при деревне, и небо при ней!

Доколе копить ей в полях своих грусть,
Пора собирать деревенскую Русь!

Так думало поле, и речка, и лес,
И даль, что смыкается с далью небес...

А все, что в душе и в судьбе наболело, —
Привычное дело, привычное дело.

И так оно все случилось к месту и ко времени, что, когда поэт кончил читать, и зал, и президиум долго благодарили его, не жалея ладоней...

В фойе клуба был выставлен стенд с фотографиями Рубцова, сделанный приехавшими в Николу ленинградцами. Некоторые из них я увидел впервые, стал вглядываться — и маленькая тревога запала в душу. Почему в стихотворенье, ему посвященном, я написал о “тяжелом взгляде”, об “угрюмстве”, о “прищуре”? Да нет же! Вот он молодой, с друзьями в матросских робах, разламывает пополам гармошку, смеется; вот сидит с маленькой дочкой — и лицо светится; вот склонил голову, усталый, но все равно улыбается, хотя и грустно. У него высокий лоб, живой доверчивый взгляд... Нет в молодом Рубцове никакого угрюмства! Конечно же, от природы он был добрым, веселым и светлым человеком, с душой, распахнутой для жизни, любви и дружбы. И как бы судьба ни выколачивала из него эти свойства, он не сдавался ей.

Я по-прежнему добрый,
неплохой человек.

Разве что в Москве взгляд его тяжелел и свет в глазах прятался куда-то в самую их глубь. Но если бы я в те времена приехал в Николу, то, конечно, запомнил бы его иным...

Уже смеркалось, когда мы выехали на автобусе обратно к теплоходу и по пути отвернули в сторону, чтобы поглядеть на старую дорогу, по которой Коля Рубцов, возвращаясь из странствий, ходил пешком от Усть-Толшмы до Николы. Тридцать километров лесом, лугами, распадками, мимо заброшенных починков. Есть время подумать о многом. Сколько раз, пока дойдешь, присядешь то у заброшенного овина, то на лесной опушке, то возле древнего погоста. Я представляю его себе летним днем, усталого, с чемоданчиком, где немудреное бельишко, да сборник Тютчева, да ворох черновиков. Он идет, а вокруг “зной звенит во все звонки”, цветут белые ромашки, и куда ни глянь, все волнует душу — и “филин властелин”, и верховые, как три богатыря, проскакавшие где-то у горизонта, и тишина... Старая дорога...

Здесь каждый славен, мертвый и живой,
и потому, в любви своей не каюсь,
душа звенит, как лист, перекликаясь
со всей звенящей солнечной листвою.
Перекликаясь с теми, кто прошел,
перекликаясь с теми, кто проходит...
Здесь русский дух в веках произошел
и больше ничего не происходит!
Но этот дух пройдет через века...

Бывало, что редкий грузовик догонит студента, шофер высунется из кабины и спросит: далеко идешь?

Я шел, свои ноги калеча,
глаза свои мучая тьмой...
— Куда ты?
— В деревню Предтеча.
— Откуда?
— Из Тотьмы самой!

Он садится в машину и едет дальше, радуясь, что отдыхает усталое тело, и в то же время смутно понимая, что теряет нечто, не успевая взглянуться в небо, надышаться ветром, распахнуть душу воле, синеве, зеленому простору. А потому, не доезжая несколько километров до родного села, просит удивленного шофера притормозить и выходит из кабины.

И где-то в зверином поле
сошел и пошел пешком.

Вот о чем мы разговариваем с Вадимом Кожиновым и Василием Беловым, когда стоим в сумерках на старой, уже позаросшей муравой дороге, пересыпанной строчками поэта, столько раз проходившего ее туда и обратно.

Вечером следующего дня на высоком берегу Сухоны в Тотьме открывался памятник Николаю Рубцову. Это событие как бы венчало трехдневные народные празднества в его честь. Не часто земляки балуют русских поэтов таким высоким образом. Вспомним хотя бы, что первый памятник Есенину в Рязани был воздвигнут лишь через полвека после его смерти. Как тут не поклониться вологжанам и тотьмичам!

Несмотря на дождь, людей собралось множество, и пока организаторы торжества заканчивали последние приготовления, море зонтиков, шалей, беретов сгрудилось вокруг монумента, затянутого белой простыней.

Когда настало время открытия, мы с Передреевым вышли из толпы, я потянул за шнур, покрывало медленно поползло вниз, обнажая голову и плечи уже не Коли Рубцова, а кого-то другого, отделившегося от нас и ушедшего в царство русской поэзии.... Он сидел на скамье, в пальтишке, накинутом на плечи, нога на ногу, руки со скрещенными пальцами покоились на колене...

Глубокие глазницы, высокий воротник грубого свитера, в котором часто ходил Рубцов, высокий лоб, задумчивый наклон головы — от всего образа веяло духом отрешенности от соблазнов мира сего, внутренней сосредоточенностью, чувст-

вом собственного достоинства и неуязвимости от внешних обстоятельств жизни.

В отдалении от холма, на котором стоял памятник, виднелись поставленные в свое время лихими тотемскими землепроходцами, возвращавшимися из рискованных походов, полуразрушенные церкви, как бы иллюстрируя пронзительные стихи Николая Рубцова:

И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье меж этих померкших полей,
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей.

...В послевоенное время в моей зеленой полуразрушенной Калуге недалеко от нашего дома находилась скульптурная фабрика. Размещалась она в ограде бывшей церкви, и я по пути на реку, к золотым окским пляжам всегда останавливался возле нее. С чувством некоего таинственного приобщения к особому миру фигур, загромаждавших церковный двор, я глядел на мощные торсы дискоболов, на гипсовые фигурки пионеров, на очень изящные, как мне тогда казалось, статуи женщин с веслами или с подойниками в каменных руках... Все они потом расселялись по районным центрам, вырастали в нашем Центральном парке культуры и отдыха, в маленьких городских скверах и на площадях небольшого города... Теперь я понимаю, что это, конечно же, были весьма аляповатые цементные временки, но, даже понимая это, я хочу сказать несколько слов в их защиту. Каждому времени — свои песни, свои книги и своя скульптура. В этих убогих стандартных фигурах жила помимо халтуры и однообразия и некая глубина и правда нашего времени, осознававшего свое величие и спешившего кое-как, наспех хотя бы, это величие зафиксировать. И вот сейчас, глядя на полуразрушенные скульптуры, установленные в те годы, на потемневшие подтеки на цементе и гипсе, на куски железной арматуры, торчащие из какой-нибудь культи, я думал: все-таки от этих рудиментарных и стандартных останков массового искусства той эпохи веет еще и аскетизмом, и бедностью, и целомудренностью, и неприхотливостью, и даже мысли о каких-то общественных идеалах, искаженных и не до конца осуществленных, возникают у меня при виде этих рассыпающихся от времени статуй. Нет ничего более вечного, чем временные сооружения. Я понимаю и условность и правду этого афоризма. Да, цемент разваливается. Но идеи, грубо воплощенные в нем, наверное, останутся вечными. Вот почему в начале 70-х годов я написал:

Да будет вечен этот гипс,
его могучая фактура!
Вот дискобол: плечо и диск,
а между ними арматура...

В те аскетические довоенные и послевоенные времена наша скульптура выражала как бы общие идеи и потому была столь однообразна. Тогда она играла либо украшательско-прикладную роль, либо монументально-идеологическую. Мы не могли позволить себе — и средств не хватало да и самосознания такого еще не было, — чтобы какой-нибудь маленький городок решил бы поставить памятник своему знатному земляку, герою, воину, поэту, то есть украсить себя ликом или фигурой, присущими только этому городку, этой малой родине знаменитого человека. Такое время наступило лишь через несколько десятилетий, и лишь поэтому стало возможным создание памятника Николаю Рубцову в маленьком северном городке Тотьма на высоком берегу реки Сухоны...

У Николая Рубцова есть два пророчества: “Я умру в крещенские морозы” и “Мне поставят памятник на селе”... Оба они оправдались.

— Больше стало на Руси еще одним святым местом! — сказал, выступая у памятника, его создатель, скульптор Вячеслав Клыков.

Это было правдой, потому что вечером, во время литературного праздника учительница Тотемской средней школы, где учился Рубцов, рассказала, что в Тотьму и Николу уже много лет люди приезжают “к Рубцову”, расспрашивают земляков о нем, записывают воспоминания, оставляют их в местном музее, пишут картины, снимают любительские кинофильмы о родине поэта.

А профессор Литературного института Михаил Павлович Еремин, у которого двадцать лет назад учился Рубцов, произнес такие слова, от которых зал загудел и взорвался рукоплесканиями:

— Думая о Рубцове, глядя на его памятник, побывав в его деревне, вспоминая его стихи, я сегодня испытываю чувство, которое давно уже не приходило ко мне, я горжусь, что я русский!

Поздно вечером под проливным дождем мы возвращались к теплоходу, чтобы отправиться обратно в Вологду.

Я нес в руках целую охапку цветов, подаренных школьниками, да еще друзья прибавили свои букеты, чтобы положить их к подножию монумента, мимо которого мы проходили на пути к пристани... В дождливой тьме, то и дело оступаясь в лужи, я прошел по дорожке, усыпанной песком, к Рубцову.

Огляделся. Под обрывом призрачным сиянием светилась река, над которой угадывалось движение темных дождевых облаков. На их фоне с трех сторон, окружая памятник, чернели силуэты церквей. Вокруг не было ни души... Увязая в мокром тяжелом песке, я поднялся на земляную насыпь к скульптуре и хотел было опустить цветы к подножию — на землю, но почему-то передумал, выпрямился, вложил их в холодные бронзовые руки и, почувствовав металлический холод, поднял взгляд: на меня из глубоких глазниц смотрел не Коля Рубцов, а кто-то иной, уже легендарный, от прикосновения к которому тревога затекала в душу. “Ну ладно тебе, — одернул я себя. — Это же не Медный Всадник, не Статуя Командора — это твой друг, он сам приглашал тебя двадцать с лишним лет тому назад на свою родину, вот ты и приехал...”

— Здравствуй...

3

В конце 1971 года я получил письмо из далекого Барнаула от доселе неизвестной мне медицинской сестры Евгении Нифонтовны Кошелевой. Письмо положило начало нашей долгой переписке. Медсестра была, как я теперь понимаю, из той породы читателей, которая образовалась за два-три послевоенных десятилетия. Возникновение этой породы было чудом советской цивилизации. Размышляя о людях такого склада сегодня, я убеждаюсь, что ничего в нашей истории не прошло даром: ни культурная революция, ни коллективизация, ни строительство домн, комбинатов и городов, ни жертвы великой войны. Михаил Пришвин однажды пронизательно заметил: “Наша поэзия происходит из недр природы, когда мы десятки тысячелетий в борьбе за кусок хлеба тесно сближались с ней. Поэзия эта вышла, как победа, когда стальной узел необходимости был развязан...” Вот и появление умного, наивного, страстного, ревнивого, живущего поэзией читателя было обусловлено тем, что после войны мы, в очередной раз перенапрягая народные силы, развязали “узел материальной необходимости”. “Окрепла Русь. Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат”.

Из первого письма Кошелевой — “Нифонтовны”, — как она позднее стала называть себя в письмах.

“Я читательница, кстати, не просто придиричивая, но свирепая даже, если в поисках истинной поэзии натыкаюсь на бесцветные стихи или нерадиво оформленную книжку”.

Какое слово нашла — “свирепая”! Именно такими — ревнивыми, взыскующими истину, влюбленными в нас, поэтов, но не прощающими нам ни малейшей лжи, слабости или фальши, были наши читатели 60—80-х годов. Они читали всё, что выходило из-под пера их кумиров, вступали в споры со злыми завистливыми критиками, поносившими нас, засыпали редакции газет и журналов письмами, протестами, восторгами, искали нам единомышленников на необъятных просторах страны, воодушевлялись нашими удачами и победами, печалились и скорбели во время наших болезней и житейских невзгод. Мы были их личной жизнью, чуть ли не собственностью, но зато обязаны были соответствовать идеалу, рожденному в их душах. Их любовь не только согревала, но могла обжечь или даже испепелить дотла.

Из письма Нифонтовы:

“А вот книжечка Вл. Соколова “Снег этого года” мне так и не попала, сколько я ее ни искала. Хирею, чахну без нее. Вы помните, как догорает свеча? Вот и я так же. Беру книжечку А. Передреева — посвящение Вл. Соколову. Волна нежности. Беру Вашу книгу — посвящение Вл. Соколову. Волна нежности. Утаскиваю ее к себе, уединяюсь с ней и... с тех пор тоска и тревога уже не отпускают меня. А тревога смутная, такого же свойства, что и раньше завладевала мной, как предчувствие беды для кого-нибудь из близких мне людей, даже если они были очень далеко от меня...”

Таких читателей (а их было много, с ними моя переписка длилась десятилетиями) не было в мировой истории ни в одну эпоху, ни в одной стране. Только в Советской России. Ну, подумайте: в руки Нифонтовы попадает моя книга “Ночное пространство”. Она пишет мне письмо, наполненное строфами и отрывками из моих же стихотворений, поразивших ее, признается, что очень любит ночь, звездное небо, полночную тишину, и вдруг эта медицинская сестра из далекого провинциального Барнаула с Кооперативной улицы, как само собой разумеющееся, цитирует: “И только две вещи неизменно наполняют душу изумлением: ночное небо надо мной — и нравственный закон во мне”. Иммануил Кант! А первое письмо от нее, пересланное мне из “Литературной газеты” (Нифонтова не знала моего адреса), заканчивалось словами: “Где бы услышать старинную русскую песню, забытую накрепко: “Ты гори, гори, моя лучина, догорю с тобой и я”. Хорошо бы стих написать с такой вот интонацией, может, полегчает?”

Боже мой, как легко и свободно парила в ночном пространстве душа Нифонтовы — от великих слов Канта до

бессмертной русской песни! Какого читателя мы вырастили, какую жизнь с ним прожили и ...какого читателя мы потеряли! Мы лечили его душу, мы помогали ему жить в нашем суровом мире, а он ободрял нас, укреплял наш мятущийся дух, нашу веру в Россию, в добро, справедливость, красоту... Мы прощали ему его свирепость, его порой невыносимо требовательную любовь, его безмерную ревность, а он писал нам письма, о которых Блок говорил, что "они помогают жить"...

...Однако сейчас, разбирая в заснеженной деревне папки с читательскими письмами, я погрузился в послания Нифонтовны лишь для того, чтобы разыскать в них страницы о Николае Рубцове. Они в то время поразили меня.

Он был любимым ее поэтом, и мне она написала лишь потому, что от кого-то узнала: у Станислава Куняева есть стихотворенье, посвященное Рубцову.

Из письма от 4 июля 1972 года:

"У Вас есть один стих, посвященный Рубцову, но мне он не встречался нигде. Если бы Вы могли мне его прислать. Просьба моя кажется дерзкая, наглая, но я серьезно давно уже — таю про себя такое страстное желание... Стихи Ваши в "Литгазете" встревожили меня упоминанием о хирургии и понтапоне и ...портрет Ваш. Что-то новое, непривычное в облике. Это тревожит. "Но в наши годы плакать невозможно, и каждый раз себя превозмогая, мы говорим: всё будет хорошо", это из "Осенних этюдов" Рубцова. — Напишите мне — как он погиб".

Не помню, что я ответил ей. К сожалению, в те годы, отвечая на письма, я обычно не оставлял никаких вторых экземпляров, потому что письма, как правило, писал от руки.

Я ни разу не встречался с Нифонтовной, не знаю, как сложилась ее жизнь. Лет через пять после первого письма наша переписка прекратилась. Сейчас я думаю, что, может быть, весь душевный накал ее писем, их предельная искренность и какая-то сверхчувствительность — свойство болезненной и экзальтированной натуры? Но откуда тогда удивительная эстетическая пронизательность, растворение в ткани и сущности стиха, искрящийся читательский талант, которого не хватало и не хватает многим модным критикам прошлых и нынешних времен?

Из письма Нифонтовны от 22 декабря 1973 года:

"И вдруг наткнулась на Ваше стихотворение "Памяти поэта". И с первых строк пока еще поверить не смела, что это о нем-таки, а ни о ком другом. Жар подыматься стал во мне, подкатываясь к горлу. Вообще — последнее время как-то

все горлом чувствую. Вся кровь приливает к горлу, и оно пылает огнем. Это лучший стих о Рубцове, ибо он изнутри написан. Лучший из всех ему посвященных стихов. Судьба мне дала единственную встречу с Рубцовым. Это было в 57-м году на Алтае. Дорога шла через сосновый бор. Он сидел на пригорке, на закате. Я вышла из лесу, увидела его и тотчас пошла прямо на него. Как увидела — так прямо и пошла. Свернула со своей дороги. Мне было 19, ему 21. Я по замыслу природы рыжая вся как есть, а в детстве меня за это преследовали, проходу не давали, что я чувствовала себя глубоко несчастной и даже не человеком вообще. Так ведь диавол подсказал мне в тот июль в жгуче-черный цвет волосы окрасить, то есть, вернее, даже сжечь их краской — они стали жгуче-черными. Вот я выскочила из лесу на опушку и сразу увидела черную маленькую фигурку на холме. Против закатных лучей она выглядела совершенно черной. И я тотчас свернула со своей дороги и пошла прямо на него, как черная ворона, а потом он пошел за мной. “Не в сторону, а напрямик”. У него и тогда уже был “тяжелый” — тяжелый взгляд. Но нет, это не то слово. Это был взгляд неотступно сверлящий, пы-та-ющий. (От слова “пытка”.) Он мне показался совсем черным. Волосы черные, брови прямые, глаза карие, золотистые на свету. Мамочки мои, золотистые! Но это уже в минуту относительного покоя. Все верно у вас о нем. Именно так: в момент относительного покоя, ибо никакого покоя с ним быть не может. Он меня и после гибели не отпускает, держит словно мощным магнитом — оттуда! Под этим взглядом было в высшей степени неуютно. Может, он и стал со временем именно “тяжелый”, но тогда в нем была еще страстная надежда на жизнь. Страстная! На-деж-да. На — жизнь.

Мы с ним встретились и не узнали друг друга, то есть не поняли, что нам надо непременно дружить. Не упускать друг друга из виду. Впрочем? он-то все же догадался, хотя и сказал с сомнением: “Но ты ведь не станешь со мной дружить! Я рабочий, а ты в институте учишься”. “Почему это я не стану с рабочим дружить?!” — спросила я почти грозно. (Мне-то и в самом деле нужен был друг.) Но больше я его не увидела. Но я его не обманула. Я стала ему подругой уже после гибели его. И даже день его гибели чуяла на расстоянии. Я тогда жила в деревне на Псковщине... Да, я его забыла через три дня и на шестнадцать лет. И нынче все вспомнила. Меня все время тянуло на Запад. Всю жизнь. На Северо-Запад. Дело в том, что я никогда не любила детство свое и юность. Моя жизнь — только молодость и зрелые годы, и потому я активно забыла

все, что связано с Барнаулом. Только любимых учителей мединститута помнила тепло и с благодарностью. Все остальное вытеснила из своей памяти, и его заодно.

Уехала из Барнаула и десять лет скиталась на Западе Союза. И всё вокруг Вологодчины кружила, сама не отдавая в том отчета. Это земля моих дедов. Еще отец там жил в нищей деревишке глухоманной. Забыла все намертво, что связано с Барнаулом, так, что едва-едва с великим трудом его нынче вспомнила, встречу в сосновом бору на закате. Он говорил: "Я тебя пожалел, я не хотел тебя опозорить". Вот так сказал. Пожалел! "Когда заря смеркается и брезжит... мне жаль ее". Я же была черная, как ворона:

Увижу ворона
И в тот же миг
Пойду не в сторону,
А напрямик.

Возможно, возможно...

В его прищуре открывалась мне
Печаль по бесконечному раздолью.

Печаль? Эту Вашу строчку почему-то не воспринимаю. У него бунт в самой гармонии. Он шел к тихой ярости. У Лермонтова мысль в лоб высказана. У Рубцова нет мыслей "в лоб". Но бунт в самой гармонии. В звукописи.

"Крещенские морозы" его — изумительная звукопись, призванная к нагнетанию трагического.

"По безнадежно брошенной земле" — а вот это очень точно. Это я чувствую.

И не дышал его угрюмый стих
надеждою на них,
хоть самой малой.

Здесь Вы сказали очень точно! Потому-то он и стал гениальным поэтом. Ни одна женщина не окликала его для любви. Любимое слово мое "угрюмый". И звукопись в этом слове: сдвоенное "у-ю". Красно-фиолетовая нота. У-У-У!.. Ю-Ю-Ю! Любимые гласные.

Истоскую ночь глухую,
чую голос ветровой.
На беду его лихую
Кину жребий золотой!

У-У-Ю-Ю! Какая звукопись, Стасик! Какая звукопись! Это же волчке завыванье!

Размер Вашего стиха "Памяти поэта" — ведь в нем дыханье Ваше. Это размер волновой, волнами: подъем — спад. Прилив — отлив. Кстати, интересно, что единственный стих, написанный таким размером у Вас — это посвященный Николаю Рубцову.

19 января три года со дня его гибели. Хочу письмо от Рубцова... Я слушаю гармонию сфер и пытаюсь уловить, что дух Николая Рубцова мне внушает. И потом идеи эти рубцовские внушаю современникам живущим. Это вот и значит: быть ему подругой и после гибели его".

"...Потянуло опять к "Вечной спутнице" Вашей: "Он выглядел, как захудалый сын". Как точно! Помните его такого? В "Сосен шум" его портрет... Серенький, скромненький, как мышка... робкая надежда на жизнь еще теплится в нем. А вот портрет из "Зеленых цветов" — уже ничего человеческого. Он уже миру иному принадлежит. Это, вероятно, последний его портрет? А? Чем больше в поэте человеческого, тем меньше гения. Чем больше гения, тем опасней это, тем смертельней для жалкой земной оболочки его, в которой огонь священный горит. Таковы жестокие законы искусства. Рубцов та же кукушка. Крамольная птица. Гнезда не вьет. Детей не воспитывает. Но в голосе ее — все возможности поэзии".

И еще отрывок из последнего письма, помеченного декабрем семьдесят пятого года, после которого русская вещунья, сивилла, гадалка, кукушка, пророчица, ворожея, знахарка Нифонтовна навсегда исчезла из моей жизни:

"Я, конечно, понимаю, что плевать Вам на всех русских читателей Ваших, тем более провинциальных, тем более женского рода. Все это понятно. Вот выйдет из тюрьмы Людка Дербина — я ее заставлю писать стихи гениальные-е... раз уж теперь нет Николая Рубцова. Книга Рубцова "Последний пароход" выпущена из рук вон паскудно, испохабили книгу нашего русского гения! Художественное оформление — это стилизация под народное, то есть пошлость, тираж мизерный, словно Рубцов какой-то начинающий. Нет ему жизни и после гибели. Нет ему жизни в этом еврейском литературно-коммерческом мире... Во всей России не могу найти ни одного русского поэта... Словно вымерло все вокруг. Есть советские поэты, а русских нет. Пустынь, пустынь, как в мире дописьменном. Был единственный русский поэт, и того задушили..."

учтите, Стасик, следующая очередь, возможно, ваша.

От злости безмерной принялась за Вашу "Вечную спутницу" и попалась я, бедная, на крючок, как те простодушные форельки, которым Вы любили жабры вспаривать. (Садист Вы, конечно, Стасик, но это так, к слову.) Я Вас включила в генетическое ядро современной поэзии. Вы поэт русский были и есть. И я Вас живьем не выпущу с этого света.

С Новым годом.

Нифонтовна".

...Сиюю перед заиндевелым окошком своей деревенской избы, подымаюсь из-за стола, иду по скрипучим, изъеденным шашелем половицам к печке, подбрасываю пару березовых полешек — береста с треском сворачивается, занимается языками пламени, невольно вспоминаю рубцовское "и друг поэзии священной — в печи березовый огонь" — возвращаюсь к столу и, словно карты в пасьянсе, снова перебираю письма... Есть ли смысл ворошить прошлое, беседовать с тенями, осмысливать опыт, может быть, совершенно ненужный завтрашнему дню? По телевизору с утра до вечера празднуют шестидесятилетие Владимира Высоцкого. А вот, кстати, один из редких, сделанных под копирку моих ответов читателю Геннадию Ивановичу из Орла. Это 1981 год. В своем письме он приравнял судьбу Высоцкого к судьбе Рубцова — мол, оба были не поняты и гонимы и властью и обществом, оба продолжали список поэтов-изгоев русской истории — Лермонтова, Есенина, Гумилева, Мандельштама, Цветаевой, Пастернака... Перечитываю через 16 лет с лишним мой ответ ему:

"Вы сравниваете две несравнимые судьбы. Одна — бешеная, пускай вначале полуподпольная, но потом во многом организованная слава, куча поклонников, театр, пресса, "мерседесы", сладкие, ядовитые блага массовой культуры, открытая виза, залы Франции и Америки, пляжи Таити, деньги, репортеры, поклонники, отравление даже не водкой, а наркотической славой — или просто наркотиками, толпы на Ваганьковском кладбище, эфросы, вознесенские, рязановы, любимовы, шемякины, влады — словом, весь могущественный клан людей западной ориентации, мировой антрепризы с деньгами, связями, влиянием аж до самого-самого верха...

И другая жизнь — сиротство, детдом, одиночество, бедность, тралфлот, Кировский завод, обшарпанная гармошка, маленький круг друзей (несколько человек!), бескорыстное, подвижническое, монашеское служение поэзии

(“душа хранит”), три тощеньких книжонки, изданные при жизни, бездомность, последнее письмо к секретарю обкома с просьбой, чтобы хоть комнатку какую-нибудь дали. Нет, не звали его к себе “большие люди”, чтоб он им пел “охоту на волков”. Но и на могилу его на новом жутком вологодском кладбище к нему приходят только те, кто чужую могилу рядом не затопчет... И на надгробье у него не рекламнопропагандистские лозунги Вознесенского (“О златоустом блатаре рыдай, Россия!”), а свои собственные, для своей души сказанные: “Россия, Русь, храни себя, храни!” Вот и всё. Совершенно разные жизни. Общее только одно — пили и умерли молодыми. Во всем остальном — ничто не объединяет этих поэтов. На том и стою.

*Ваш Ст. Куняев
6.11.81 г.”*

...По телевидению закончились дни Высоцкого и началась неделя Бродского. Открылась она программой “Старая квартира”, которую ведет некий Гурвич, очень похожий на бывшего партийного функционера, позже посла России в Израиле Александра Бовина. И ведущий, и все собравшиеся в зале поклонники Бродского стенают и плачут о том, в каких невыносимых условиях жил прекрасный Иосиф, высланный на полтора года в одну из архангельских деревень. Да Николай Рубцов в подобной же деревне Никола полжизни прожил, свои лучшие стихи об этой жизни написал, счастливым чувствовал себя не раз под своим северным небом на “тихой родине”, на высоком берегу речушки Толшмы. Был я там в последний раз в январе 1996 года, когда, как сегодня у Высоцкого, у Рубцова праздновали шестидесятилетие. Собралось человек двести жителей Николы и соседних деревень, открыли музей Рубцова в деревянной школе, выпили, повспоминали. Ни одного человека ни с одной программы Центрального телевидения не было. И у Высоцкого и у Рубцова, как всё при жизни сложилось, так продолжается и после смерти.

4

Борис Слуцкий внимательно присматривался к творчеству молодых русских поэтов начала шестидесятых годов. Анатолия Передреева он уговорил поехать на Братскую ГЭС “изучать жизнь”, сам вызвался быть редактором моей первой москов-

ской книги “Звено”, высоко ценил поэзию ленинградского геолога Леонида Агеева, ратовал за прием в Союз писателей Юрия Кузнецова. Недаром же мы в нашем московском кругу звали его весьма дружелюбно: “Абрамыч”.

Но недавно молодой исследователь Г. Агатов обнаружил в одном из архивов (РГАЛИ) неизвестное доселе письмо Николая Рубцова к Борису Слуцкому, рецензию Слуцкого на рукопись книги Рубцова “Звезда полей” и те его стихи, присланные Слуцкому вместе с письмом, в которых есть существенные разночтения по сравнению с известными всем каноническими текстами тех же стихотворений.

На моей памяти Борис Слуцкий еще раз принял участие в судьбе Николая Рубцова. Однажды в Центральном Доме литераторов встретились Николай Рубцов, Игорь Шкляревский и я. Рубцов после скромного застолья стал читать нам стихи, и вдруг его грубой репликой прервала одна окололитературная девица, сидевшая по соседству за столиком с поэтом Владимиром Моисеевичем Луговым. Рубцов был уже нетрезв и потому резок:

— А эта б...ь чего вмешивается в наш разговор! — произнес он на весь пестрый зал. Франтоватый вылощенный Луговой суетливо вскочил со стула и неожиданно для всех нас попытался защитить честь своей подруги какой-то полупощечиной Рубцову. Сразу же завязалась потасовка, в которую влез находившийся в зале администратор Дома литераторов. Рубцов замахнулся на администратора стулом, но на руках у него повисла официантка Таня, кто-то помог мне вытащить из зала Лугового вместе с его дамой, кто-то из сотрудников бросился к телефону вызывать милицию, что и оказалось самым скверным в тот вечер: не успели мы одеться и слинять, как к дверям нашего дворца подкатил “воронок”... Протокол, свидетели, короче говоря, всё, что было положено в этих случаях, произошло, а недели через две Коля показал мне повестку с вызовом в суд. Я позвонил Александру Яшину, Борису Слуцкому, рассказал им, как все произошло, и в день суда мы все встретились в казенных коридорах. Александр Яшин взял с собой на помощь известную поэтессу и еще красивую женщину Веронику Тушнову, с которой у него в то время был роман. Николай Рубцов, кажется что в валенках, в замурзанной ушанке и стареньком пальто, битый час сидел в темном коридоре, пока мы вчетвером уговаривали судью простить, замять и отпустить. Уговорили. Яшин, Тушнова и Слуцкий распрощались с нами на Садовом кольце возле суда, а мы с Колей пошли в соседнюю забегаловку-стекляшку

отметить его освобождение, поскольку вход в Центральный Дом литераторов был закрыт ему надолго.

Слуцкий не случайно взялся помочь Николаю Рубцову. В июньском номере “Нашего современника” за 1999 год опубликовано единственное письмо Николая Рубцова Борису Слуцкому. Г. Агатов сделал к публикации небольшой комментарий:

“Письмо Рубцова с пятью приложенными к нему стихотворениями хранится в РГАЛИ, в фонде Б. А. Слуцкого. Писем Рубцова сохранилось немного, со времени его смерти опубликовано около 40, в их числе нет ни одного письма Слуцкому. Об отношениях Рубцова и Слуцкого мы вообще мало что знаем. Известно, что Слуцкий хлопотал за Рубцова после скандала в ЦДЛ в декабре 1963 года, грозившего Рубцову большими неприятностями. Наталия Яшина, публикуя в “Нашем современнике” письма Рубцова к своему отцу, в связи с этим инцидентом писала: “Поэт Станислав Куняев позвонил Яшину и Слуцкому. Слуцкий лично Рубцова не знал, но слышал о нем от поэтов. Его позвали на помощь, надеясь на сильный характер и внушительно-важный вид” (“Наш современник”, 1988, № 7, с. 183). Теперь выясняется, что к тому времени Слуцкий уже несколько знал Рубцова, по семинару Н. Сидоренко, быть может, ответил и на его письмо.

В фонде же Слуцкого в РГАЛИ находится и рецензия Слуцкого на сборник Рубцова “Звезда полей”. Рецензия не закончена и никогда не публиковалась. Вот ее полный текст:

“Первая книга поэта*.

Это — стандартный заголовок, примелькавшийся, ничего не выражавший. Каждое из его слов надо мотивировать заново. Попробую сделать это в применении к первой книге поэта Николая Рубцова.

Первая книга часто бывает сборником юношеских упражнений, доказательством энергии автора и жалостливости редакторов.

Первая книга в подлинном смысле этих слов — обязательно пропущенная через ямбы и дольники судьба, новый человек, новая, доселе не бывшая живая душа.

Узколиций человек в берете и непонятном шарфе, глядящий на нас с приложенного к книге портрета — такую живую душу в поэзию принес.

* “Звезда полей” была вторым сборником Рубцова.

Вехи его недлинной биографии — детство, юность в северной деревне, матросская служба на северных же морях и реках, Москва с ее литературным институтом.

Особый строй души — элегическая грусть, сочетаемая с любовным приятием жизни. Особая манера письма, с первого взгляда связанная скорее с XIX веком нашей поэзии, чем с двадцатым, а по сути дела вполне современная, потому что и чувства и мысли нынешней периферии, глубинки, выражены Рубцовым совершенно точно.

Все это вместе и складывается в облик книги. Она называется “Звезда полей” — по одному из лучших стихотворению книги. Это название — неслучайное.

Критика сейчас хвалит почти все, и сказать о книге Рубцова, что это хорошая книга — значит ничего о ней не сказать.

Поэтому применю старинный способ сравнения: наряду с первой книгой С. Липкина, “Звезда полей” — одна из среди наиболее значительных книг последних лет” (РГАЛИ, ф. 3101, № 100, с. 57—58).

Но вот текст и самого письма:

“Дорогой Борис Абрамович!

Извините, пожалуйста, что беспокою.

Помните, Вы были в Лит. институте на семинаре у Н. Сидоренко? Это письмо пишет Вам один из участников этого семинара — Рубцов Николай.

У меня к Вам (снова прошу извинить меня) просьба.

Дело в том, что я заехал глубоко в Вологодскую область, в классическую, так сказать, русскую деревню. Все, как дикие, смотрят на меня, на городского, спрашивают. Я здесь пишу стихи и даже рассказы. (Некоторые стихи посылаю Вам — может быть, прочтаете?)

Но у меня полное материальное банкротство. Мне даже не на что выплыть отсюда на пароходе и потом — уехать на поезде. Поскольку у меня не оказалось адресов друзей, которые могли бы помочь, я решил с этой просьбой обратиться именно к Вам, просто как к настоящему человеку и любимому мной (и, безусловно, многим) поэту. Я думаю, что Вы не сочтете это письмо дерзким, фамильярным. Пишу так по необходимости.

Мне нужно бы в долг рублей 20. В сентябре, примерно, я их верну Вам.

Борис Абрамович! А какие здесь хорошие люди! Может быть, я идеализую. Природа здесь тоже особенно хорошая. И тишина хорошая. (Ближайшая пристань за 25 км отсюда.)

*Только сейчас плохая погода, и она меняет всю картину.
На небе всё время тучи.*

*Между прочим, я здесь первый раз увидел, как младенцы
улыбаются во сне, таинственно и ясно. Бабки говорят, что в
это время с ними играют ангелы...*

До свиданья, Борис Абрамович.

От души, всего Вам доброго.

Буду теперь ждать от Вас ответа.

*Мои стихи пока нигде не печатают. Постараюсь
написать что-нибудь на всеобщие темы. Еще что-нибудь о
скромных радостях.*

Мой адрес:

Вологодская область,

Тотемский район,

Никольский сельсовет,

село Никольское.

Рубцову Николаю.

Салют Вашему дому!

5/VII — 63 г."

Николай Рубцов, конечно же, не случайно написал Слуцкому письмо с просьбой о помощи.

Бывая в нашем московском кругу, он не раз, видимо, слышал от меня, от Передреева, от Кожинова, что Борис Слуцкий — безотказно и по-деловому относится и к просьбам подобного рода.

Но в этих двух документах — в рецензии и письме — меня особенно заинтересовало одно обстоятельство: как ярко и выпукло отразились в них характеры обоих людей. Четкая и одновременно достаточно глубокая и содержательная манера Слуцкого. Не случайно сопоставление книги Рубцова с книгой Липкина: Слуцкий, словно стратег, по-хозяйски, двумя-тремя фразами как бы пытается освежить картину поэзии тех лет, выдвинуть сразу два имени, казалось бы, с противоположных флангов ее... Рецензия не дописана, но я помню свой короткий разговор со Слуцким о Рубцове. Я прочитал ему стихотворение "Журавли", он задумался. И хотя стихи (было видно) произвели на него впечатление, однако форма их показалась ему, воспитанному на Маяковском, Хлебникове, раннем Заболоцком, чересчур архаичной (недаром он любил говорить, что каждый поэт должен летать на самолете собственной

конструкции), Абрамыч произнес что-то о бальмонтовщине и есенинщине, о некоей формальной “несовременности” стихотворенья... так что, думаю, Рубцова до конца он понять и не мог. Но, между прочим, и русские поэты, особенно земляки Рубцова, не сразу поняли и приняли его.

Я помню, как он жаловался на них, которые, по его словам, ценят стихи Ольги Фокиной куда выше, нежели его.

Помню свои горячие стычки с Сергеем Поделковым, уверявшим всех, что рубцовские “Журавли” — сплошное эпигонство, подражание братьям Жемчужниковым, известным по песне: “Здесь под небом чужим, я как гость нежеланный, слышу крик журавлей, улетающих вдаль...”

Помню, как непросто было нам убедить Егора Исаева, который тогда заведовал поэтической редакцией в издательстве “Советский писатель”, что книга “Звезда полей” — событие, и что издать ее нужно как можно скорее.

Но вернусь к письму Рубцова Слуцкому. В нем есть несколько наивных, лукавых и одновременно дерзких интонаций, которые всегда были свойственны Рубцову, когда он попадал в круг неизвестных людей или обращался с чем-то личным к малознакомому человеку. Ситуация шепетильная. Он просит двадцать рублей в долг у человека, который почти не знает его. В письме есть застенчивые фразы, которые он писал, как бы борясь с самим собой. “Некоторые стихи посылаю Вам — может быть, прочитаете?” “Постараюсь написать что-нибудь на всеобщие темы. Еще что-нибудь о скромных радостях” (он, не будучи уверен, что его стихи понравятся Слуцкому, как бы обещает написать в будущем что-то более значительное). Одновременно, желая смягчить впечатление от своей “дерзкой” просьбы, он делится со Слуцким некоторыми тайными сторонами своего внутреннего душевного мира (“А какие здесь хорошие люди!” “Младенцы улыбаются во сне, таинственно и ясно”). Рубцов рискует, но все-таки надеется, что его поймут. А уж в конце письма он совершенно “дал петуха”, выкликнув панибратское “Салют Вашему дому!” — видимо, устал от своей же собственной застенчивости и робости.

Такие переходы в настроении от целомудренной стеснительности до внезапных приступов дерзости мы замечали за Рубцовым не раз. Однажды небольшая компания, уже порядочно разогретая, но желавшая погулять еще, по предложению Вадима Кожинова поехала к его армянским друзьям, жившим на Садовом Кольце. Вадим, чтобы заинтересовать хозяев в набеге, позвонил им и сказал, что с нами Рубцов, и что он будет петь.

Армянская семья жила по тем временам богато. Поэты вошли в просторную многокомнатную квартиру, где в гостиной на столе стояли дорогие коньяки, пол был покрыт толстым цветным ковром и в креслах сидели хозяева и гости, среди которых был какой-то немецкий ученый-филолог, жаждавший послушать песни Рубцова.

Николай, в своем заношенном костюмчике, в грязной рубашке, с обшарпанной гитарой в руках обалдел от этого великолепия и, видимо, от смущения сразу же выпил чуть ли не полный стакан коньяка, который ему поднесли тут же, с одновременной настойчивой просьбой что-либо “исполнить”... Но произошел неожиданный конфуз. Наверное, оттого, что гости уже приехали, мягко говоря, не совсем трезвыми, коньяк, судорожно проглоченный тщедушным поэтом, сразу же вырвался обратно из его чрева на роскошный, украшенный цветами восточный ковер... Все замерли в ужасе, хозяйка бросилась на кухню, вернулась с ведром и тряпкой и стала спасать ковер... Однако воспитанный немец бросился к ней, потребовал, чтобы тряпку отдали ему, и, наклонившись, стал вытирать блевотину... Был он, этот немец, неимоверно толстым, зад его, с натянутыми на ягодицах брюками, колыхался перед нетвердо стоявшим на ногах Рубцовым, который от ужаса и смущения смог исторгнуть из себя лишь одну фразу: “Еще и жопу выставил, немчура проклятая!”. Все от этой неожиданной фразы захохотали, и обстановка разрядилась, как воздух после удара молнии...

А в завершение хочу сказать лишь об одном: Николай Рубцов просит двадцать рублей у Бориса Слуцкого... Как горько мне сегодня думать об этом.

А летом 1998 года я побывал на открытии памятника Рубцову уже в самой Вологде, в центре города, на берегу реки. Друзья поэта подарили мне копию неизвестного доселе письма Николая Рубцова, написанного за четыре года до смерти.

*“В Вологодский обком КПСС
от члена вологодского отделения
Союза писателей РСФСР
Рубцова Н. М.*

З а я в л е н и е

Прошу Вашей помощи в предоставлении мне жилой площади в г. Вологде.

Родители мои проживали в Вологде. Я также родом здешний.

Жилья за последние несколько лет не имею абсолютно никакого. Большую часть времени нахожусь в Тотемском районе, в селе Никольском, где провел детство (в детском доме), но и там, кроме как у знакомых, пристанища не имею. Поскольку я являюсь студентом Литературного института им. Горького (студент-заочник последнего курса), то бываю и в Москве, но возможность проживать там имею только во время экзаменационных сессий, т. е. 1—2 месяца в год.

Все это значит, что у меня нет ни нормальных бытовых условий, ни нормальных условий для творческой работы.

Я автор двух поэтических книжек (книжка “Звезда полей” вышла в Москве, в издательстве “Советский писатель”, “Лирика” — в Северо-Западном книжном издательстве), а также автор многочисленных публикаций в периодике, как в центральной, так и в областной.

В заключение хочется сказать, что меня вполне бы устраивала бы и радовала жизнь и работа в г. Вологда.

15.VII.67 г.

Н. Рубцов”.

Дали ему-таки комнатку, где он прожил последние три года жизни, а уж вечную прописку Николай Рубцов получил на вологодском кладбище, “в кругу берез любимых и печальных”, где постепенно собрал вокруг себя своих друзей-земляков — Сергея Чухина, Виктора Коротаева, Владимира Ширикова...

Но почему, почему после смерти Рубцова возник и продолжает жить до сих пор настоящий русский, трепетный культ его судьбы и его поэзии? Ведь никогда не был он модным, не стремился к известности, не рвался на эстрадные подмостки — ни на отечественные, ни на международные. Нет ни одной записи, ни одного кадра Рубцова на нашем телевидении, сохранилась лишь одна короткая радиозапись голоса, и все равно его поэзия каким-то чудом — естественно, постепенно и властно, без саморекламы, прессы, скандалов, конной милиции, антрепренеров, вопреки глобальной экспансии массовой культуры — выжила, укоренилась и проводит благодатную работу по просветлению душ человеческих... Почему? Да, видимо, потому, что, как бы ни соблазнялась человеческая натура потребительством, развлекаловкой, кайфом, — все равно ее лучшая часть, пусть иногда бессознательно, но жаждет идеала, гармонии, цельности, света. А ведь именно этими жизнерождающими стихиями живет поэзия Рубцова, и в этом его редчайшее значение для нашего времени, полного “тревог

великих и разбоя”. Несмотря на свою тяжелую, полную лишений жизнь, он писал неоскорбляемой частью души и думал всегда о высоком. Его муза никогда не впадала, по словам Блока, в публицистическое разгильдяйство, не соблазнялась модными темами сиюминутной фельетонности, мертво громыхающей гражданственности, картинами социального и бытового распада. Он никогда не потрафлял низменным инстинктам публики, не ласкал ее потребительские страсти. Вглядываясь в свою душу, он пытался понять душу человеческую, душу русскую, с ее извечной добротой, широтой, милосердием, и несовременное слово “душа”, вобравшее в себя как бы суть рубцовской поэзии, вдруг обратила к нему сердца и взоры современников. Иногда кажется, что цель иных современных поэтов — разложить душу и в буквальном и в переносном смысле слова. Для Рубцова же душа, как бы ни давила на нее жизнь, как бы ни старалась превратить ее в “совмещенный санузел”, цельна и неразложима.

Ну что ж? Моя грустная лира,
Я тоже простой человек,
Сей образ прекрасного мира
Мы тоже оставим навек.

Русский образ прекрасного мира, который мы создавали веками и который сегодня позволяем разрушать.

Как это перекликается с заветом Александра Блока: “Сотри случайные черты — и ты увидишь: мир прекрасен”. Случайные черты никогда не затмевали для Рубцова красоту мира.

“Самоуважение нужно нам, а не самооплевание” — вот одна из последних записей Достоевского в дневнике. И, наверное, Николай Рубцов становится с каждым годом все дороже и нужнее нам, потому что растит в нас то самоуважение к себе, к русской земле, русской душе, русской истории, то самоуважение, без которого не может жить ни один великий народ...

Открывали мы в январе 1996 года в заснеженном вологодском селе Николе музей Николая Михайловича Рубцова, в заново отстроенной из желтых смолистых бревен школен-интернате, где он когда-то учился. Народу собралось в зимний морозный вечер под старый Новый год несколько сотен, видимо, из соседних деревень приехали... На стенках музея фотографии, автографы, документы из истории деревни, книжки Рубцова... Старики и бабки, довольные праздником, озираются, подойдешь к ним, спросишь чего-нибудь про Колю, хитро посмотрят и говорят что-то вроде того, что-“де, мы-то

его знали настоящего... Какой был! А не какой в книжках!..”
Своя у них правда...

Р. С. Как это ни печально, но в последние несколько лет о Николае Рубцове, о его жизни и посмертной судьбе, о его друзьях и недругах написано много глупостей, продиктованных когда невежеством, а когда и прямой злобой. Профессор В. Новиков (литературовед со стажем) наконец-то через тридцать лет после смерти поэта додумался до того, что Николай Рубцов — это “Смердяков русской поэзии”.

Недавно в Санкт-Петербурге вышла антология “100 русских поэтов” (издательство “Алетейя”, 1997 г., составитель В. Ф. Марков). Профессор кафедры славянских языков и литературы Калифорнийского университета делает в антологии такое примечание к стихам Николая Рубцова: “Кумир “деревенщиков”, Рубцов умер от того, что жена прокусила ему шейную артерию...”. Просто сцена из американского фильма ужасов о вампирах.

Поэт Лев Котюков в своих мемуарах “Демоны и бесы Николая Рубцова” из кожи вон лезет, стараясь переписать прошлое. “Не надо Кожинову уверять публику, что он открыл нам поэта при жизни”. А зачем Кожинову уверять публику? Та публика, которая помнит шестидесятые годы, и без всяких уверений знает, как Вадим Валерьянович ценил Рубцова и любил его поэзию при жизни поэта. Стоит лишь вспомнить его выступления тех лет, да заглянуть в его статьи.

А вот еще один домисел Льва Котюкова. Он пишет о Передрееве, который, пожалев для Рубцова рубль займа, мысленно произносит: “В арбатский дом, например, к Кожиновым, дальше прихожей тебе хода нет...” Я свидетельствую, что Рубцов не раз бывал и в кожиновском и в моем доме. Более того, однажды Передреев, Кожинов и Рубцов приехали за полчаса до наступления Нового года к отцу Кожинова. Были они уже в праздничном состоянии, и более всех Рубцов. Когда же отец Вадима сказал сыну: “Ну Передреев, Бог с ним, а этот чересчур выпивший — нельзя ли без него? Кожинов поругался с отцом, хлопнул дверь, и вся компания поехала встречать Новый год в общагу.

Как снежный ком с каждым годом нарастает кампания по ревизии судьбы и жизни Рубцова. Вот и Виктор Астафьев к ней подключился и меня помянул недобрым словом в февральском номере “Нового мира” за 2000 год.

“Друзья, объявлявшиеся ныне во множестве у Николая Рубцова, в том числе выставляющий себя самым сердечным, самым близким другом поэта Станислав Куняев, не изволили

быть на скорбном прощании. Они как раз в это время боролись за народ, за Россию, и отвлекаться на посторонние дела им было недосуг”.

Зря Виктор Петрович разбрызгивает свою желчь. Лучше бы написал о том, как он однажды Коле Рубцову не дал переступить порог своей квартиры и, больше того, “помог” ему с лестницы спуститься. Раньше Астафьев об этом охотно и со смехом рассказывал, что многие вологодские литераторы помнят. Сейчас, держа нос по модному ветру “культы Рубцова”, помалкивает. Не буду подробно вспоминать, почему я не приехал в Вологду на похороны. Известие о смерти — дело всегда тяжелое, обессиливающее, надрывное. Не надо бы Астафьеву глумиться над моими чувствами тех печальных январских дней. Откуда ему было знать, что я думал и как переживал нашу общую утрату. Скажу только, что не “посторонними делами занимался”, а некролог по просьбе Белова в “Литературную газету” писал. Собирал подписи друзей и добивался того, чтобы в номер его поставили. А что же касается ядовитой реплики Астафьева о друзьях, “объявившихся ныне во множестве”, куда он и меня зачисляет, то добавлю только следующее. Недавно я, будучи в Вологде, с радостью обнаружил в вологодском архиве мои три письма Николаю Рубцову. А я-то думал, что они пропали. Нет, сберег их Николай Михайлович, несмотря на свою безытнугую жизнь. Видимо, дорожил ими. Вот они, эти письма, как свидетельство наших отношений.

“Здравствуй, дорогой Коля!

Как тебе живется в твоём прекрасном далеке? Скоро ли приедешь к нам, порадуешь нас?

Пишу тебе не только по велению души, но и по делу. Книжку твою я сдал уже давно в издательство “Молодая гвардия”. Но пока ничего определенного они мне не говорят. В “Знамени” все стоит на месте. Я, видимо, заберу оттуда стихи и отнесу или в “Огонек”, или в “Литературную Россию”. Но я хочу, чтобы ты прислал мне еще стихов. Хотя бы из сборника “Душа хранит”, чтобы у меня их было побольше.

Толя уехал в Грозный вместе с Шемой. Игорь завоевывает Москву.

Пиши. Привет тебе от Гали.

Пьем мало, ибо нет ни денег, ни настроения.

Твой Стасик”.

“2 сентября 1964 г.

Здравствуй, милый Коля!

Несказанно был рад твоему письму и спешу тебе ответить. Успокойся, никаких последствий наше поведение в ЦДЛ не имело, так как оно затмилось совершенно невероятным фактом: в тот же вечер какой-то крепкоголовый поэт разбил головой писсуар в уборной Дома литераторов. Так что ты остался студентом, и Передреев так же цел. Со стихами в “Знамени” еще нет ясности. Как только она будет — я тебе напишу.*

Все мы живы-здоровы, чего и тебе желаем. Я даже сочинил несколько стихов. Вот один из них (далее следовал текст стихотворения “Если жизнь начать сначала”. — Ст. К.).

Обнимаю тебя.

Станислав”.

“Здравствуй, милый мой отшельник!

Поздравляю тебя с Новым годом. Рукопись на днях куда-нибудь отнесу. Она мне очень пришлась по сердцу. Дай Бог тебе в Новом году новых радостей. Поклон от Гали.

Обнимаю.

Стасик”.

Все письма написаны Николаю Рубцову, еще неизвестному России поэту, в 1964 году. С Виктором Астафьевым он познакомился лишь через пять лет. Так что не следовало бы красноярскому классику язвить по поводу наших отношений. Лучше бы подумал о том, что в памяти вологжан еще живут слова Николая Рубцова о нем, об Астафьеве: “обкомовский прихвостень”. Впрочем, в новомировских воспоминаниях есть немало точных и душевных размышлений о судьбе и поэзии Николая Рубцова, а также страстные монологи о Владимире Высоцком и нынешнем Останкино, под которыми я и сам готов подписаться. Но там же и столько глупостей наворочено о советской эпохе, о скульпторе Вячеславе Клыкове, который своего Сергея Радонежского “скоммуниздил у древних ваятелей”, о “чудовищном государстве под звериным названием Эс Эс Эс Эр”, о “нынешних коммунаках”, что поневоле подумаешь: “Куда там Новодворской или Сванидзе до Виктора Петровича! Поистине “широк русский человек!”.

* Речь шла о каком-то очередном скандале в ЦДЛ, в котором участвовали и Николай Рубцов, и я, и Анатолий Передреев.